

РЕЦЕНЗИИ

В.Ш. КРИВОНОС. ПОВЕСТИ ГОГОЛЯ. ПРОСТРАНСТВО СМЫСЛА

САМАРА, 2006. 442 с.

**В.Ш. КРИВОНОС. ГОГОЛЬ. ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА
И ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

САМАРА, 2009. 420 с.

Две монографии известного гоголеведа Владимира Шаевича Кривоноса явились результатом его многолетних изысканий в области зрелой и поздней гоголевской прозы: “Миргорода”, “Петербургских повестей” и “Мертвых душ”. Обе книги представляют собою исследование как отдельных вещей или циклов, так и сквозных поэтических мотивов и смыслов Гоголя. Научные идеи и их аргументация как бы “перетекают” между двумя книгами, которые предстают цепью пульсирующих узлов авторского интереса к Гоголю. Это и позволяет объединить их в одной рецензии.

Центром проблематики первой из двух рецензируемых книг, “Повести Гоголя: Пространство смысла”, выступает фольклоризм поэтической семантики Гоголя. Феномен этот многократно и многоаспектно изучался в работах М. Бахтина, Ю. Лотмана, Е. Анненковой, В. Ереминой, А. Гольденберга, М. Виролайнен, А. Юдина, Л. Фиалковой и др. Развивая и углубляя эту традицию, В.Ш. Кривонос рассматривает в первой монографии феномен неявного фольклоризма “Тараса Бульбы” и “Петербургских повестей”, а также “Коляски” и “Рима” (разумеется, только этим феноменом изучение гоголевских повестей в книге, посвященной *пространству смысла*, не ограничивается; автор исследует разнообразные возможности образования и трансформации смысла, заложенные в самой структуре анализируемых произведений).

В первой главе «“Тарас Бульба”. Структура и смысл» раскрываются смысловые горизонты, до сих пор остававшиеся вне поля зрения исследователей и читателей; автору, особо внимательному к важной здесь роли фольклорно-мифологических элементов, удастся принципиально по-новому прочитать повесть. Показательны в этом плане анализ перехода Андрия из лагеря запорожцев в город Дубно и – в связи с ним – роли такого структурного элемента, как сон Тараса (2006, с. 13–33); рассмотрение мифа польского города в соотнесенности с мифом Сечи (2006, с. 104–

126); интерпретация “собачьего кода” и собачьей символики (2006, с. 54–65), специфической задачей которой в гоголевском эпосе В.Ш. Кривонос видит общую маркировку нечисти и инородцев. Анализ многозначной символики инородцев (а многозначность эта часто игнорируется в гоголеведении) детализируется в специальных параграфах, посвященных принципам изображения в повести поляков и казаков (2006, с. 86–105), а также знаковым функциям “еврейского сюжета” (2006, 66–85). Так, путешествие Тараса в Варшаву получает подтекст путешествия в иной мир, а помогающие ему Янкель с сородичами получают статус волшебных помощников (2006, с. 34–53). Осмысляя эпическую роль люльки Тараса, связанной с его долей и судьбой (2006, с. 127–138), В.Ш. Кривонос видит в ней символическую вещь, занимающую особое место в мифологии казачьего мира.

Во второй главе «“Петербургские повести”: трансформации смысла» неявность, а с нею и поэтико-психологическая глубина фольклорных элементов при движении от “Тараса Бульбы” к “Петербургским повестям” возрастают. Исследователь заостряет внимание на таких элементах мифологической либо сказочной сюжетики, как чудесное рождение, поиск клада, в том числе и на так называемом “заколдованном месте” (2006, с. 139–164), испытание героя (2006, с. 165–182), сопряженное, в том числе, с переходом границы царства мертвых (2006, с. 242–251), столкновение с метаморфным и почти всегда враждебным женским началом в “Записках сумасшедшего”, “Невском проспекте”, иносказательно – в “Шинели” (2006, с. 201–220). Однако сказочная модель посвятельного испытания героя осложняется врожденным и пожизненным инфантилизмом таких персонажей, как Пискарев, Поприщин или Чертокуцкий, что делает неосуществимой программную задачу взросления героя (2006, с. 183–202).

В третьей главе “Символические смыслы в повестях Гоголя” описанная фольклорно-мифоло-

гическая символика цикла используется исследователем для системного анализа отдельных повестей. В частности, “Портрета”, ключевыми элементами пространства и, тем самым, “путевого” сюжета которого В.Ш. Кривонос представляет “границу” и “раму” (2006, с. 323–352). Недостоверность (в авторской терминологии – “проблематичность”) всего происходящего в “потустороннем” мире Петербурга видится исследователю сюжетным фундаментом “Записок сумасшедшего” (2006, с. 302–322). Чудесное рождение Башмачкина, его инфантильность и Петербург как “заколдованное место” задают сюжет “Шинели” (2006, с. 364–393). В повести “Рим” фольклорно-мифологические структуры отражают культурно-философскую проблематику – прежде всего, актуальные для Гоголя рубежа 1830–1840-х годов отношения культуры, соответственно, с религией, национальной почвой и цивилизацией (2006, с. 394–428).

Во второй книге “Гоголь: Проблемы творчества и интерпретации” В.Ш. Кривонос, как уже было сказано, во многом развивает идеи монографии 2006 года. Прежде всего, он переносит основное внимание на “Мертвые души”, а также на “миргородские повести, остававшиеся ранее вне поля зрения. Кроме того, он иллюстрирует полученные результаты, сопоставляя творения Гоголя с произведениями его современников и явных и неявных последователей и анализирует различные гоголевские традиции (в том числе в полемическом ключе).

В первой главе “Мир и человек у Гоголя” сказочные подтексты уступают место мифологическим. Это, прежде всего, мифы творения и хаоса, “обрамляющие” бытие провинциального Миргорода, города Б. в “Коляске” и города NN в первом томе “Мертвых душ”. В последнем случае хаотической семантикой “конца света” пронизана версия чиновников о Чичикове – Наполеоне (2009, с. 17–41, 78–85). На мифологическую символику открыто накладывается религиозная, связанная, в частности, с развитием мотива воскрешения “пороговых” героев первого тома “Мертвых душ” (2009, с. 118–133, 145–159) и с важной ролью здесь притчи и ее образных элементов (2009, с. 98–117).

Вторая глава “Гоголь и русские писатели” демонстрируют добытые автором выводы в отношении конкретных гоголевских произведений сквозь призму их очевидных и не слишком очевидных аналогов в русской литературе. Так, ключевые для “Тараса Бульбы” понятия “воли” и “доли” сопоставляются с таковыми в пушкинских “Цыганах”, заглавные герои которых – столь же “естественный” коллектив, как и гоголевские ка-

заки (2009, с. 180–197). Гоголевская “мифология места” имеет, как выясняется, точки соприкосновения с “уездными” рассказами В.Ф. Одоевского (2009, с. 198–214). Поэма Лермонтова “Тамбовская казначейша” сравнивается с повестью “Коляска” в аспекте существенной для Гоголя провинциальной темы (2009, с. 215–230). Сон во сне как структурный элемент “Портрета” обнаруживает свое продолжение в сновидческих картинах героев “Преступления и наказания” (2009, с. 231–248). Весьма убедительно показано “миражное” подобие гоголевского Петербурга булгаковской Москве в “московских” повестях и в “Мастере и Маргарите” (2009, с. 249–263). Полемической интерпретацией “Шинели” явилась анализируемая В.Ш. Кривоносом поэма Л. Лосева “Ружьё” (2009, с. 263–280).

В третьей главе “Гоголь. Мифы и версии” рассматриваются и анализируются работы о Гоголе В. Розанова, писателей первой русской эмиграции и современных исследователей, в том числе с точки зрения “истории” проблем интерпретации и творчества писателя, поднимаемых в монографии. Наконец, заключительная, четвертая глава посвящена современному (своего рода) “гоголетворчеству” – на примере книги А. Терца (А. Си-нявского) “В тени Гоголя” и др.

Как почти любое действительно содержательное исследование, рецензируемые книги не только решают поставленные автором задачи, но полученными в них результатами (в том числе и бесспорными) эти задачи ставят. Остановимся, учитывая размер рецензии, только на некоторых из этих результатов, для нас наиболее важных и принципиальных. Так, книги В.Ш. Кривоноса, с одной стороны, обнажают проблему возрастающей неясности фольклоризма Гоголя (от “Миргорода”, через “Петербургские повести” к первому тому “Мертвых душ”), а с другой – обозначают пути ее решения.

Отмечаемый исследователем в “Петербургских повестях” мотив “заколдованного места” напрямую “унаследован” из “Вечеров на хуторе близ Диканьки” и, прежде всего, из одноименной новеллы – “былички”, завершающей цикл. “Заколдованное место” – это некий замкнутый участок земного мира людей, неявно управляемый из фронтально противостоящего ему мира античеловеческого (загробного, подземного). Здесь пространство подвижно и метаморфно, а человек подвергается мороку, теряет путевые ориентиры, видит миражи и пр. Заколдованное место фиксирует зыбкость границы двух миров и возможность двустороннего перехода (2006, с. 141–142). Но если в “Вечерах...” заколдованное место

принадлежит земному миру и только управляется нежитью из-за фронтальной границы, то в “Петербургских повестях”, как показывает В.Ш. Кривонос, призрачным, метаморфным и “пластичным” является пространство столицы в целом. Это пространство мглы и тумана. Разойтись туман может лишь для безумного Поприщина, то есть сама “ясность” становится орудием мороки. В “Портрете” (о котором подробнее речь пойдет ниже) рубежом вторжения нечисти в земной мир выступает портрет ростовщика. Морочащим лабиринтом и бездной оказывается путь из гостей для Башмачкина в “Шинели”. То есть, Петербург выступает как сплошное “заколдованное место” (2006, с. 141–146, 325).

Призрачности столицы сопутствует переплетение в ней яви с вымыслом, галлюцинацией и сном. Так, в отличие от “Вечеров...”, в “Петербургских повестях” герой не может полностью проснуться от жуткого сна. В “Носе” морочит Ковалева петербургская явь, вначале принимаемая героем за сон. В “миражном” пространстве Петербурга, где “всё не то, чем кажется” [1, т. III, с. 45], естественны и провалы в памяти у рассказчика “Носа” и его постоянные ссылки на слухи и сплетни как компоненту реального действия. Сны Чарткова, перед которым оживает ростовщик с портрета, – это та же действительность Петербурга, которая морочит его наяву – под видом сна. Пограничной ситуацией между сном и явью предстает появление призрака в финале “Шинели”. Недостоверны ни тождество призрака умершему Башмачкину, ни сам факт его появления (2006, с. 237, 303–304, 389).

Но в то же время гоголевский Петербург, как справедливо отмечает автор, носит отчетливые признаки “царства мертвых” (2006, с. 147–150, 169, 180). Тем самым, “заколдованное” место в столичном пространстве оказывается избыточным, поскольку не обозначает собою границы земного и “потустороннего” миров. Если в “Вечерах...” и “Вие” (в частности, во время полета ведьмы верхом на Хоме) нечисть морочит героев из-за некоей (в основном земляной) границы (2006, с. 302–303), то в “Петербургских повестях” все происходит “по ту сторону”.

Весьма интересны в этом плане наблюдения автора в отношении петербургских окраин у Гоголя. Прежде всего – Коломна, фигурирующей в “Портрете” и в “Шинели”. Коломна – не столица и не провинция; она отделена от Петербурга, но вовсе не противостоит ему, пространство в Коломне, “двойнике” столицы – “функция пространства столицы как бесструктурного хаоса”. Общую “морочащую” роль столицы и окраины в отношении героев скрепляют, среди прочего,

и “чертовы подарки”: соответственно, шинель и портрет в одноименных повестях. Ср. интересное наблюдение автора о том, что чертыхаются обитатели гоголевского Петербурга чаще, чем другие его герои (2006, с. 252, 255–257).

Автор, по видимому, совершенно прав в том, что ключевая черта Коломны “отставка” как первый шаг к смерти – обнаруживает внутреннюю мертвенность петербургской жизни (2006, с. 245–249). Неслучайно в “Шинели” именно Коломна оказывается местом появления живого мертвеца (2006, с. 250). Иными словами, будучи формально окраиной, краем “края земли” (то есть Петербурга), Коломна в то же время обнажает его внутреннюю суть. Здесь с Петербурга как “царства мертвых” спадает маска мнимой оживленности, воплощаемая, прежде всего “Невским проспектом”, где “все обман... все не то, чем кажется”. Добавим, что в “Вечерах...” такая маска “мнимой оживленности” спадает с колдуна в экспозиции “Страшной мести”, когда в одно мгновение танцующий казак “стал... старик” [1, т. I, с. 245]. Возвращаясь к этой теме во второй книге, автор подчеркивает, что в “Портрете” и “Шинели” окраина – это “локус небытия” (2009, с. 22).

Более того, в гоголевском облике столицы автор находит черты “эсхатологического мифа” Петербурга, согласно которому тот, с одной стороны, обречен гибели в финских болотах, а с другой – знаменует утверждение сатанинского мира в земном пространстве, глобальную “замену” земного мира “кромешным” (2006, с. 146). Значит Петербург, в глазах Гоголя, обозначает иную, по сравнению с “Вечерами...” и “Миргородом”, стадию истории России и мира. Соответствующую символику Петербурга развивает описываемая автором кощунственная профанация в “Носе” непорочного зачатия и чудесного рождения. Это бегство носа как иновыраженное рождение ребенка и обнаружение пропавшего носа, для которого “ничего не было священного”, в хлебе 25 марта, в канун Благовещения (2006, с. 156–157, 159). Остается, правда, неясным, почему дух тьмы является в мир в облике носа. Спорным выглядит и мнение автора о том, что для Ковалева возврат носа, о котором он умоляет доктора, означает возврат души (2006, с. 158). Более актуальными тут видятся фаллические коннотации носа, признаваемые самим автором (2006, с. 156). Также и встреча Ковалевым носа в виде чиновника говорит, по нашему мнению, не о сказочном росте носа “не по дням, а по часам” (2006, с. 158–159), а о единовременном превращении. “Потустороннюю” природу Петербурга высвечивают и многократно фиксируемые В.Ш. Кривоносом карикатурные

изображения в “Петербургских повестях” чиновной иерархии, представляющие столицу как мир нерусский. В фольклорной системе координат – нечеловеческий.

“Загробный” подтекст гоголевского Петербурга осложняет значение “инициации”, подтекст которой В.Ш. Кривонос выявляет в снах художника Пискарева в “Невском проспекте”, утрате и розыске Ковалевым сбежавшего носа, рисовании портретов на заказ Чартковым, уже подпавшим под влияние демонического портрета, превращении Поприщина в испанского короля и его переезде в “Испанию”, то есть в сумасшедший дом (2006, с. 165–183, 319). Инициация означает временный переход юноши из “своего” / земного мира в мир загробный и возвращение оттуда в качестве взрослого мужа. Герои “Петербургских повестей” не приходят в столичное “царство мертвых” и не покидают его; они рождаются и умирают в нем. Недаром автор определяет героев повестей как “функции” петербургского пространства (2006, с. 143). Правда, с нашей точки зрения, они не становятся такими “функциями”, а являются ими с рождения.

Возврат либо просто переход в другой мир может быть лишь воображаемым. Таковы сны Пискарева, которого В.Ш. Кривонос справедливо считает медиатором между петербургским и подлинным мирами (2006, с. 227); таинственный мир букв для Башмачкина, “перелет” в традиционный русский мир для Поприщина (о мире, фантазируемом Поприщиным в финале как родном, домашнем, традиционно русском см.: [2, с. 288]). Однако превращение Поприщина в короля и переезд в “Испанию” оказываются мнимой инициацией. “Испания” / сумасшедший дом не противостоит Петербургу, а воплощает его чудовищную суть в отношении Поприщина. Если Коломна обнажает суть столицы как “царства мертвых”, то сумасшедший дом проявляет “подземный” пласт столицы как “геенны огненной”. Именно такой подтекст адских мук отмечает В.Ш. Кривонос в “лечении” безумного Поприщина: ему бреют голову, льют на нее холодную воду и пр.; в итоге голова его “горит” (2006, с. 319). Муки эти для него пожизненны (вечны), а возврат в земной / русский мир “изб” может быть только воображаемым. Примечательны в этом плане наблюдения В.Ш. Кривоноса о том, что в сумасшедшем доме Поприщин перестает чертыхаться (что он постоянно делал на воле в течение всей повести) – возможно, подспудно ощущая табу на имя духа тьмы в его логове. Кроме того, именно здесь Поприщин открывает демоническую природу женщины (2006, с. 317).

Вторым осложнением инициации для героев “Петербургских повестей” выступает их инфантильность (2006, с. 183–200, ср. с. 227), блокирующая взросление – главное в посвятельном обряде. Так, Чартков, найдя клад в раме портрета, тешит себя совершенно детскими забавами и удовольствиями (ест без счета пирожные, бесцельно катается по городу в карете и пр. 2006, с. 166–167, 190). В подоплеке инфантилизма может лежать романтическая мечтательность – в частности, у Пискарева (2006, с. 183–184).

“Экстремумом” инфантилизма как склонности погружаться в мнимую действительность В.Ш. Кривонос видит безумие Поприщина. Мифическая Испания оказывается для героя странной мечтой. Превращая себя в испанского короля, он совершает как бы обратное развитие в ребенка и по-детски играет с реальностью – таков, например, его приказ не позволить Земле сесть на Луну. Детское мировосприятие обуславливает наивность Поприщина, его простодушие и веру в собственные фантазии – и суммируется в финале воображаемым возвратом к матери в качестве ее “бедного дитятки” (2006, с. 189–193, 312–313).

Особым случаем предстает инфантилизм Башмачкина в “Шинели”, которого В.Ш. Кривонос справедливо оценивает как человека “не от мира сего” (2006, с. 161, 193 и далее), то есть не от петербургского мира. Этим образ Башмачкина, с нашей точки зрения, высвечивает общие роль и смысл как инфантилизма, так и “инициации” петербургского героя. Нам трудно согласиться с автором в том, что, получив имя отца, Акакий Акакиевич знаменует новое рождение отца (2006, с. 161) – это никак не делало бы его человеком “не от мира сего”. Отцовское имя он получает от “безвыходности”; это своего рода “не-наречение”, которое символизирует его неполное рождение, по сути – *нерождение*. Это “нерождение” и можно оценивать как “чудесное рождение” героя (2006, с. 159–162). Именно благодаря ему Башмачкин, оставаясь “вечным титулярным советником”, фактически не входит (в отличие от Ковалева или Чарткова) в петербургский мир и его иерархию, пожизненно оставаясь у ее подножия. Вечное детство, таким образом, обеспечивает “антиинициацию”, духовное неприобщение петербургскому “царству мертвых”. Родившись “готовым”, Башмачкин, очевидно, не столько подражает сказочному герою (2006, с. 162), сколько противостоит ему, поскольку остается вечным ребенком.

Здесь стоит отметить вот что. Говоря об инфантилизме гоголевских героев в целом, В.Ш. Кривонос справедливо причисляет к этому ряду Ивана Федоровича Шпонюку – заглавного героя

одной из повестей “диканьковского” цикла, и находит в нем весьма интересные соотношения с Чартокуцким из “Коляски” (2006, с. 183). Никогда не стремясь их оспаривать, мы все же считаем более глубоким подобие Шпоньки Башмачкину. Инфантилизм обоих состоит, по-видимому, в ограничении своих потребностей элементарными хозяйственно-бытовыми отправлениями. При этом Башмачкин, “вечный титулярный советник”, находится у порога сразу двух противоположных миров: петербургской чиновной иерархии и переписываемых им таинственных букв. Как пожизненный ребенок, он фактически не входит ни в один из них. Шпонька же последовательно и сознательно отказывается от продвижения вглубь двух равно угрожающих ему миров, предпочитая остаться вечным ребенком. Первый – путь науки и службы: учение Шпонька оканчивает на дробях, а службу – в чине подпоручика. Второй – путь углубления в “природу”, олицетворяемую его могучей тетушкой Василисой Кашпоровной. Как показывает в своей книге С.А. Гончаров, страх Шпоньки перед вступлением в брак (символизированный его сном) есть опосредованная форма страха перед необратимым попаданием во власть / “область” тетушки, чьим заместителем и орудием и оказывается будущая жена. Предлагая Шпоньке в письме наследовать ей в качестве нового “хозяина” поместья (природного мира), тетушка с помощью брака предполагает полное возвращение / погружение героя в этот мир [3, с. 76, 78].

В то же время анализ В.Ш. Кривоносом инфантилизма Поприщина говорит о страстном стремлении гоголевского героя не только “к самоопределению в чужом для себя мире” властной иерархии Петербурга, но и к вхождению в этот мир, олицетворяемый для Поприщина дочкой начальника. И дело не только в том, что, перевоплотившись в испанского короля, герой является к своей избраннице со словами о том, что вскоре “...счастье ее ожидает такое, какого она и вообразить себе не может...” [1, т. III, с. 209]. Как показывает В.Ш. Кривонос, историю своего превращения в короля Поприщин сочиняет по “лекалам” современной ему “низовой” прозы и драматургии. Во-первых, это водевили (склонность к которым герой обнаруживает в своих записках). Думая о дочери начальника и пытаясь привлечь ее внимание, Поприщин строит свое поведение по образцу водевильного героя, чья страсть кажется окружающим смешной и нелепой. Добиваясь взаимности возлюбленной, Поприщин, как и его водевильный образчик, выдает себя за другого и приписывает себе мнимые титулы. А в своих любовных переживаниях, в том числе итоговых, он соединяет трагедии

и водевилей – опять-таки по обычаю посещаемых им столичных театров (2006, с. 309–310).

Вторым источником фантастической “автобиографии” Поприщина В.Ш. Кривонос называет лубочную “Повесть о приключениях английского короля Георга...”. Ее герой попадает в Испанию, где умер король и из-за отсутствия мужского наследника на престол восходит его дочь. Георг проникает в спальню дочери, чтобы увидеть ее красоту (на людях она всегда в маске). Для брака с Георгом королева намерена произвести его в генеральское достоинство, но все рушат интриги сестры королевы, принцессы Елены. (Ср. рассуждения героя о своих заклятых гонителях: сначала начальнике отделения, а затем Полиньяке – 2006, с. 311–312, 318–319.)

В этом плане типологически подобен Поприщину, с нашей точки зрения, как раз Чартокуцкий, чей инфантилизм также состоит, хотя и неявно, в погружении в мнимую действительность. Его обман выступает формой безотчетного самообмана. Чартокуцкий хвастает перед офицерами мифическим сокровищем – но это не трубка, не табакерка, не пистолет, не сабля, – а чудо-коляска. Если Поприщин мечтает в финальном монологе о “вылете” из петербургского мира в родной ему мир русской провинции, то Чартокуцкий наоборот, жаждет с помощью чудо-экипажа покинуть беспросветную глушь городка Б., навевающего беспросветную тоску в экспозиции повести.

Однако на протяжении большей части повести статус испанского короля для Поприщина – средство не ухода из петербургского мира, а возвышения в нем. Ср. в этой связи очень интересное наблюдение В.Ш. Кривоноса о фактической самооценке Поприщина как “урода” в выдуманной им переписке собак. Урод, по средневековым представлениям, есть плод соития женщины с чертом (2006, с. 318). Тем самым, Поприщин ощущает свою генетическую связь с “дьявольским” петербургским миром в качестве нежеланного “дитяти”. Как человек социального “низа”, Поприщин строит свой путь наверх по культурным моделям этого “низа”. Возможно, полная погруженность в идею петербургского возвышения и не позволяет Поприщину покинуть столичный мир. А “низовое” культурное воспитание лежит в подоплеке инфантильности героя.

Таким образом, В.Ш. Кривонос исчерпывающе демонстрирует принципиально иную природу и позицию Петербурга в гоголевском художественном мире в сравнении с фольклорной “Диканькой...” и продолжающим ее “Вием”. Это различие меняет и значение инфантилизма героя, и суть его “инициации”. Вместе с тем, развернутый авторский анализ обнаруживает наличие в “Петербург-

ских повестях” как сугубо сказочной “границы” земного и потустороннего миров, так и инициационного движения между ними (в “Записках сумасшедшего”). Так, портрет ростовщика играет в повести роль окна в потусторонний мир, причем в первой редакции повести – буквально: “...страшное лицо старика выдвинулось и глядело из рам, как будто из окошка” [1, т. III, с. 408]. Аномальное / страшное у Гоголя (в частности, огромный рост и огненные глаза ростовщика, заставляющие видеть в нем демоническую природу) – неременный у Гоголя знак смещения границы двух миров, которая, по фольклорному принципу, локализуется в существе, месте или предмете. Очень точным выглядит наблюдение автора о сходстве в этом плане портрета ростовщика и статуи Петра в пушкинском “Медном Всаднике” – двух ложных кумиров, сотворенных человеком и грозящих ему в случае прямого визуального контакта. Невольный взгляд человека на такое существо всегда означает его невольное влечение к запретному. Безотчетный же взгляд означает приближение границы, предельное сокращение расстояния между своим и чужим мирами. Граница становится проницаемой и превращается в рубеж обнаружения скрытой сущности иного мира (2006, с. 325–327, 338–339). Добавим от себя, что в “Вие” схожую роль играют невольные взгляды Хомы на лежащую в гробу панночку – ведьму.

Инициация Поприщина иному миру заведомо фиктивна, но “морфологически” полноценна. Она проходит по классической модели: “смерть – новое рождение – перемена имени”, в соответствии с которой Поприщин отчуждает себя от этноса, религии и рода – отсюда переодевание в “чужое” платье и принятие чужого имени “Фердинанд”. Оно, естественно, должно восприниматься профанами как странное – поэтому Поприщин не удивлен крику служанки Марфы при виде его новой “мантии”. Инициационный переход, сопровождаемый получением нового статуса, наделяет героя магическими способностями: он “понимает” речь собак и делает чудесные открытия – о том, что “человеческой мозг... принесится ветром со стороны Каспийского моря” [1, т. III, с. 208] и мн. др.

Присутствие фундаментальных элементов архаической картины мира в произведениях с иными идейно-художественными заданиями говорит о том, что если в “Вечерах...” фольклорная архаика была предметом изображения Гоголя, то в последующей прозе она предстала морфологией художественного мироощущения Гоголя, став средством изображения мира. Это проявилось в исчезновении из гоголевских сюжетов “носителя фантастики” (см. соответствующий раздел в кн.: [4, с. 85–104]), которого заместил “беспорядок

природы” [5, с. 255], или “сумасшествие природы” [1, т. III, с. 405]. В результате, по приводимому В.Ш. Кривоносом точному определению Ю.В. Манна, гоголевская фольклорно-мифологическая фантастика “ушла в стиль”, в комическую образность языковых тропов [5, с. 257].

Эта закономерность находит новые безусловные подтверждения во второй книге В.Ш. Кривоноса. Провинциальный город у Гоголя метонимически объединяет жителей как частей одного рода – поросли. Поэтому описание этого “мира – города” представляет собою, по законам мифа, историю его первотворения. Таковы описания бекеши Ивана Ивановича, лужи у здания суда или биографии Агафьи Федосеевны в повести о двух Иванах. В этом контексте, в частности, осуществляемые или планируемые обитателями NN, соответственно, угощение и женитьба полюбившегося им Чичикова символизируют его преобразование из чужого в своего, породнение (2009, с. 31–33, 36, 56–57, 61–62). Правда, миф, очевидно, не равен обиходному значению мифологизации как обмана и самообмана. Поэтому изображение в газетах города NN чахлах кустиков в городском саду как “тенистых широковетвистых деревьев”, а равно общегородские сплетни (2009, с. 36–39) говорят, с нашей точки зрения, не об авторской мифологизации изображаемого им мира, а о мифологизации героями окружающей их современности.

Еще одним смысловым “центром тяжести” второй книги В.Ш. Кривоноса является систематизация признаков хаоса в художественном мире Гоголя. Хаос всегда означает крушение зыбкой границы людского и нечеловеческого миров и лавинообразное вторжение нечисти в мир людей (2009, с. 21–23). Такими признаками выступают пустота / безжизненность в финалах I тома “Мертвых душ” и “Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”, означающие распад человеческого мира (2009, с. 17–18). Размывание зыбкой границы двух миров приводит хаос в сознание людей. Это могут быть страшные либо химерические сны героев в “Страшной мести”, “Пропавшей грамоте”, “Иване Федоровиче Шпоньке...”, “Портрете”. Либо венчающее распад личности героя безумие в тех же “Страшной мести” и “Портрете”, а также “Вечере накануне Ивана Купала” (2009, с. 23–24, 28).

Вестниками (а точнее говоря – агентами) иного мира и хаоса выступают ведьмы (и шире, женщины вообще), а также колдуны в “Сорочинской ярмарке”, “Ночи перед Рождеством”, “Страшной мести”, “Тарасе Бульбе” (2009, с. 25–26). Формой шутливо-ритуальной инсценировки хаоса как вторжения нечисти выступает раженье. Тако-

ва своеобразная антисвадьба с ряжением “в хари” в “Вечере накануне Ивана Купала”. В “Ночи перед Рождеством” совершается травестия самого хаоса: кража месяца чертом, сопровождаемая метелью, то есть исчезновением путей (2009, с. 24). Добавим, что ряжение с “прикладной” целью мистификации лежит в основе фабул “Сорочинской ярмарки” и “Майской ночи, или Утопленницы”. Наступление хаоса знаменует “морок” в финале “Невского проспекта” (2009, с. 25). В имени безумца Кошкарева во II томе “Мертвых душ” хаос проявляется как всевластие бюрократических химер (2009, с. 27).

Основной формой наступившего хаоса у Гоголя В.Ш. Кривонос видит общегородские сплетни и слухи. Они правят сюжетом либо сопутствуют ему в “Шинели”, “Носе” и финале I тома “Мертвых душ”, выступают ключевой компонентой городской жизни в Миргороде (“Повесть о том...”), в Киеве (“Вий”), городе Б. (“Коляска”). Ими руководствуются в своем поведении, планах, фантазиях и рассказах Чартков и Поприщин, рассказчики в “Вие” и “Повести о том...”, “Носе”, “Шинели” и “Мертвых душах”. Легковерие в отношении слухов рождается, в том числе, любопытством и желанием погрузиться в мнимую действительность. В Петербурге вероятность невообразимых слухов отражает недостоверность (“проблематичность”) самого бытия, в котором факт тождествен миру. Поэтому именно из слухов вырастает биография демонического ростовщика в “Портрете” (2009, с. 27, 42–43, 50–53).

В теме потенциального либо фактического вторжения нечисти в людской мир рецензент оказался вовлечен в заочную полемику с автором и поэтому должен высказаться чуть подробнее. В начале своей второй книги В.Ш. Кривонос комментирует содержащееся в моей работе положение об архаичности гоголевского мироощущения [6, с. 8] в том смысле, что “...преодоление хаоса, будучи основой мифологического археосюжета, определяет и главный вектор художественных исканий Гоголя” (2009, с. 28). В упоминаемой работе автор этих строк описывал архаические элементы поэтического мира Гоголя – зыбкость границы между людским и потусторонним мирами, чреватую вторжением нечисти; происки ее “агентов” (зверя или женщины) в земном мире; шутивно-ритуальные инсценировки вторжения в форме ряжения и некоторые другие – во многом схоже с рецензируемыми книгами В.Ш. Кривоноса [6, с. 13–16, 37–38, 41–49, 91–93]. Но говорить о преодолении Гоголем архаичности его поэтического мира представляется сложным именно потому, что архаичность эта составляла не столько мировидение, сколько мироощущение Гоголя. По

точной оценке Ю.М. Лотмана, постепенно осознавая генетическую связь своего смеха с языческой архаикой, Гоголь стремится преодолеть его культурой литургии и проповеди [7, с. 70].

Анализ В.Ш. Кривоноса, на наш взгляд, убедительно демонстрирует, что Гоголь не столько изживал собственную архаику, сколько подвергал ее религиозной перекодировке, точно названной в свое время “спиритуализацией смыслов” [8, с. 67]. Так, в “Портрете” украшение Чартковым своей наружности означает не просто сказочное превращение – оборачивание, но духовное падение (2006, с. 330). Евангельское обоснование получает инфантилизм: религиозный художник искупает свой грех живописания духа тьмы картиной “Рождество Иисуса” (2006, с. 200). А безумие (в частности, Поприщина) преобразуется в священное безумие монашеской аскезы (2006, с. 322). Ведьма “Вечеров...” и “Вия” семантически раздваивается в “Невском проспекте” на демона и ангела (2006, с. 200–204, 207). Фольклорный мотив утраты пути во тьме по мере приближения “иного” мира (в “Ночи перед Рождеством”, “Вечере накануне Ивана Купала”, “Страшной мести”, “Вие”) (2009, с. 19–21) получает в первом томе “Мертвых душ” символику утраты верного пути в тьме духовной. Таково блуждание Чичикова на пути к Коробочке, венчаемое громом и грозой, которое, в свою очередь, развивается в финале в открыто символическую картину “кривых путей” заблудшего человечества (2009, с. 18–19, 156–157).

Очень убедительно В.Ш. Кривонос обнаруживает связь символического подтекста биографии Чичикова с новыми, эпическими значениями всевластия молвы как “безделья мира”. Первоисточником городских сплетен о герое в финале первого тома становится плутовская мистификация самого Чичикова, выдающего себя за херсонского помещика – покупателя крестьян на вывод. В этом ему подыгрывает Собакевич, без зазрения совести уверяющий чиновников, что умер не каретник Михеев, а его брат (Михеев же якобы только что сделал новую карету). Ноздреву самозванство Чичикова служит толчком к общегородской мистификации, которая перерастает в добровольный самообман всего города. В фантазии его обитателей Чичиков последовательно предстает разбойником Ринальдо Ринальдини, капитаном Копейкиным и Наполеоном. Последовательное опровержение ложных версий, кто таков Чичиков (вслед за начальными негативными определениями “ни слишком толст, ни слишком тонок”, “говорит ни громко, ни тихо”), указывает на невозможность положительного определения героя. Именно как человек “ни то, ни сё”, Чичиков скупает таких же, как он, живых мертвецов.

В результате плутовская и постась героя раздваивается на “инфернальную” и житийную. С одной стороны фантазии чиновников о Чичикове – Наполеоне переиначивают романтическую трактовку фигуры императора. Наполеон предстает не одиноким изгнанником, а “погубителем” мира. С другой стороны, биография Чичикова, где удачные поначалу аферы неизменно оборачиваются провалами, предстает цепью смертей и воскрешений, стимулируемых непостижимой страстью героя, – то есть своего рода “контрастным житием”. Исходно “житийная” модель как будто бы травестируется: Чичиков с монашеским самоотвержением стремится к материальным благам, то есть угрождает телу. Неслучайно подчеркивается любовь героя к еде, одежде, предметам личной гигиены. Отсюда крушения его афер становятся знаменами свыше: он выбрал не ту дорогу, но достоин лучшей. Пророчества о богатыре в финале первого тома, по мнению Кривоноса, косвенно относятся к Чичикову, который должен найти лучшее применение своей богатырской энергии и упорству. Духовное воскрешение Чичикова в третьем томе поэмы должно было стать чудом, подобным воскрешению Лазаря. Поэтому, рассказав историю Чичикова, Гоголь возражает против возможной однозначной оценки героя: он не “добродетельный человек”, но и не “подлец” (2009, с. 65–72, 121–123, 125–130, 132, 146–147) (о символике биографии Чичикова как “контрастного жития” см. также: [9, с. 86, 127–137]).

Впрочем, как показано в книге, архаику Гоголь не только перекодирует, но и “реабилитирует”, возвращая ей изначальный синкретизм. Так, хаотическая “пустота” в финале первого тома “Мертвых душ” предстает порождающим лоном (2009, с. 29).

Хотелось бы отдельно отметить затронутую автором на примере “Шинели” актуальную проблему произвольного “вчитывания” в гоголевские тексты различного рода философской и религиозной эзотерики (2009, с. 338–359). Как убедительно показывает автор, в православной России ре-

лигиозные истины не нуждались в “шифровании” с помощью сложных беллетристических сюжетов, которые при такой односторонней трактовке просто перестают существовать в качестве художественных текстов.

Размер рецензии не позволяет, разумеется, подробно остановиться на каждом из авторских открытий и наблюдений. Но сказанного, думается, достаточно для иллюстрации главного впечатления. В.Ш. Кривонос находит в мире Гоголя верные и в то же время глубоко оригинальные пути, по которым читателю и исследователю интересно идти вслед за ним.

А.И. Иваницкий

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гоголь Н.В.* Полное собрание сочинений. В 14 т. [М.; Л.], 1937–1952.
2. *Лотман Ю.М.* Художественное пространство в прозе Гоголя // *Лотман Ю.М.* В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
3. *Гончаров С.А.* Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997.
4. *Мани Ю.В.* Поэтика Гоголя. М., 1978.
5. *Мани Ю.В.* Эволюция гоголевской фантастики // К истории русского романтизма. М., 1973.
6. *Иваницкий А.И.* Гоголь. Морфология земли и власти (К вопросу о культурно-исторических основах подсознательного). М., 2000.
7. *Лотман Ю.М.* Гоголь и соотнесение смеховой культуры со смешным и серьезным в русской национальной традиции // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. Вып. 1 (5). Тарту, 1974.
8. *Смирнова Е.А.* О “многосмысленности” “Мертвых душ” // Контекст-1982. М., 1983.
9. *Гольденберг А.Х.* Архетипы в поэтике Н.В. Гоголя. Волгоград, 2007.

Сдано в набор 29.06.2010 г.

Подписано в печать 28.09.2010 г.

Формат бумаги 60 × 88¹/₈

Цифровая печать

Усл. печ.л. 10.0

Усл.кр.-отг. 4.2 тыс.

Уч.-изд.л. 10.0

Бум.л. 5.0

Тираж 396 экз.

Зак. 669

Учредитель: Российская академия наук

Издатель: Российская академия наук. Издательство “Наука” РАН, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90

Оригинал-макет подготовлен АИЦ “Наука” РАН

Отпечатано в ППП “Типография “Наука”, 121099 Москва, Шубинский пер., 6